

Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек,
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как-то мне все мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — донских казаков,
Размываются без них мои круты бережки,
Высыпаются без них косы желтым песком».

Старинная казачья песня

Книга третья

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики северных округов — Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхнедонского — пошли с отступавшими частями красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области.

Хоперцы ушли с красными почти поголовно, усть-медведицкие — наполовину, верхнедонцы — лишь в незначительном числе.

Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкаска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом.

Даже в позднейшие времена, когда все Войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атамана-

ми, трясли царевы устои: бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье.

К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. После того как явственно наметилась необходимость создания областной власти, руководящими чинами боевых групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать Круг. На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей.

На хуторе Татарском была получена от вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что в станице Вешенской 22-го этого месяца состоится станичный сбор для выборов делегатов на Войсковой круг.

Мирон Григорьевич Коршунов прочитал на сходе бумагу. Хутор послал в Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелея Прокофьевича.

На станичном сборе в числе остальных делегатов на Круг избрали и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск (Миرونу Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерове керосину, мыла и еще кое-чего по хозяйству, да, кстати, хотел и подработать, закупив Мохову для мельницы сит и баббиту).

Выехали на зорьке. Бричку легко несли воронье Мирона Григорьевича. Сваты рядком сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились; в Миллерове стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без опаски:

— А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им дышину!

— Нет, — уверил Пантелей Прокофьевич. — Матвей Кашулин надесь был там, гутарил — робеют немцы... Опасаются казаков трогать.

— Ишь ты! — Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и поиграл вишневым кнутовищем; он, видно, успокоившись, перевел разговор: — Какую же власть установить, как думаешь?

— Атамана посодим. Своего! Казака!

— Давай Бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Чтоб без браку был.

— Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон.

— Так, так сваток... Их и дураков не сеют — сами родятся. — Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его вес-

нушчатое лицо. — Я своего Митьку думал в люди вывести, хотел, чтоб на офицера учился, а он и приходской не кончил, побег на вторую зиму.

На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку лихорадило по кочковатой дороге; правый вороной засекался, шелкая нестертой подковой; качалась люлька, и, как рыбы на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты.

— Гдей-то наши казаки? — вздохнул Пантелей Прокофьевич.

— Пошли по Хопру. Федотка Калмык вернулся из Кумылженской, конь у него загубился. Гутарил, кубыть, держут шлях на Тишанскую станицу.

Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за Доном, на розовом костре зари величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого сотового меда лежало песчаное взгорье, верблюжьи горбы буруно скупно отсвечивали бронзой.

Весна шла недружно. Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густо-зеленым опереньем, зацвела степь, сошла полая вода, оставив в займище бесчисленное множество озер-блесток, а в ярах под крутыми склонами еще жался к суглинку изъеденный ростепелью снег, белел вызывающе ярко.

На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово, заночевали у знакомого украинца, жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд и тут первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландшафтurmистов шли ему наперерез. Один из них, мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, позывно махнул рукой.

Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойно и выжидающе жуя губами. Немцы подошли. Рослый упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу:

— Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже в казачьей форме! Его сыновья, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет прелюбопытнейший экспонат!

— Нам нужны его лошади, а он пусть идет к черту! — без улыбки ответил клешнятый, с каштановой бородой.

Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке.

— Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади — перевезти вот с этой мельницы к вокзалу партию муки. Ну же, слезай, тебе говорят! За лошадьми придешь к коменданту. — Не-

мец указал глазами на мельницу и жестом, не допуская сомнений в назначении его, пригласил Мирона Григорьевича сойти.

Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся иссера-желтым румянцем. Наматывая на грядущку люльки вожжи, он молодо прыгнул с брички, зашел наперед лошадям.

«Свата нет, — мельком подумал он и похолодел. — Заберут коней! Эх, врюхался! Черт понес!»

Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтобы шел к мельнице.

— Оставь! — Мирон Григорьевич потянулся вперед и побледнел заметней. — Не трожь чистыми руками! Не дам коней.

По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот, оголив иссяня-чистые зубы, — зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и крикливо. Немец взялся за ремень, висевший на плече винтовки, и в этот миг Мирон Григорьевич вспомнил молодость: бойцовским ударом, почти не размахиваясь, ахнул его по скуле. От удара у того с хряском мотнулась голова и лопнул на подбородке ремень каски. Упал немец плашмя и, пытаясь подняться, выронил изо рта бордовый комок сгустелой крови. Мирон Григорьевич ударил еще раз, уже по затылку, зиркнул по сторонам и, нагнувшись, рывком выхватил винтовку. В этот момент мысль его работала быстро и невероятно четко. Поворачивая лошадей, он уже знал, что в спину ему немец не выстрелит, и боялся лишь, как бы не увидели из-за железнодорожного забора или с путей часовые.

Даже на скачках не ходили вороны таким бешеным наметом! Даже на свадьбах не доставалось так колесам брички! «Господи, унеси! Ослобони, Господи! Во имя отца!..» — мысленно шептал Мирон Григорьевич, не снимая с конских спин кнута. Природная жадность чуть не погубила его: хотел заехать на квартиру за оставленной полстью; но разум осилил — повернул в сторону. Двадцать верст до слободы Ореховой летел он, как после сам говорил, шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскочил к знакомому украинцу и, ни жив ни мертв, рассказал хозяину о происшествии, попросил укрыть его и лошадей. Украинец укрыть — укрыл, но предупредил:

— Я сховаю, но як будуть дуже пытать, то я, Григорий, укажу, бо мэни ж расчету нэма! Хатыну спалють, тай и на мэна наденуть шворку.

— Уж ты укрой, родимый! Да я тебя отблагодарю, чем хошь! Только от смерти отведи, схорони где-нибудь — овец пригоню гурт! Десятка переюющих овец не пожалею! — упрашивал и сулил Мирон Григорьевич, закатывая бричку под навес сарая.

Пуше смерти боялся он погони. Простоял во дворе у украинца до вечера и смылся, едва смеркалось. Всю дорогу от Ореховой скакал по-оглашенному, с лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тарахтела так, что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижне-Яблоневским. Не доезжая его, из-под сиденья достал отбитую винтовку, поглядел на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, облегченно крикнул:

— А что — догнали, чертовы сыны? Мелко вы плавали!

Овец украинцу так и не пригнал. Осенью побывал проездом, на выжидающий взгляд хозяина ответил:

— Овечки-то у нас попередохли. Плохо насчет овечков... А вот груш с собственного саду привез тебе по доброй памяти! — Высыпал из брички меры две избитых за дорогу груш, сказал, отводя шельмовские глаза в сторону: — Груши у нас хороши-расхороши... улежалые... — И распрошлся.

В то время, когда Мирон Григорьевич скакал из Миллерова, сват его торчал на вокзале. Молодой немецкий офицер написал пропуск, через переводчика расспросил Пантелея Прокофьевича и, закуривая дешевую сигару, покровительственно сказал:

— Поезжайте, только помните, что вам необходима разумная власть. Выбирайте президента, царя, кого угодно, лишь при условии, что этот человек не будет лишен государственно-го разума и сумеет вести лояльную по отношению к нашему государству политику.

Пантелей Прокофьевич посматривал на немца довольно недружелюбно. Он не был склонен вести разговоры и, получив пропуск, сейчас же пошел покупать билет.

В Новочеркасске поразило его обилие молодых офицеров: они толпами расхаживали по улицам, сидели в ресторанах, гуляли с барышнями, сновали около атаманского дворца и здания судебных установлений, где должен был открыться Круг.

В общежитии для делегатов Пантелей Прокофьевич встретил нескольких станичников, одного знакомого из Еланской станицы. Среди делегатов преобладали казаки, офицеров было немного, и всего лишь несколько десятков — представителей станичной интеллигенции. Шли неуверенные толки о выборе

областной власти. Ясно намечалось одно: выбрать должны атамана. Назывались популярные имена казачьих генералов, обсуждались кандидатуры.

Вечером в день приезда, после чая, Пантелей Прокофьевич присел было в своей комнате пожевать домашних харчишек. Он разложил звено вяленого сазана, отрезал хлеба. К нему подсаели двое мигулинцев, подошли еще несколько человек. Разговор начался с положения на фронте, постепенно перешел к выборам власти.

— Лучше покойного Каледина — царство ему небесное! — не сыскать, — вздохнул сивобородый шумилинец.

— Почти что, — согласился еланский.

Один из присутствующих при разговоре, подьесаул, делегат Бессергеновской станицы, не без горячности заговорил:

— Как это нет подходящего человека? Что вы, господа? А генерал Краснов?

— Какой это Краснов?

— Как, то есть, какой? И не стыдно спрашивать, господа? Знаменитый генерал, командир Третьего конного корпуса, умница, георгиевский кавалер, талантливый полководец?

Восторженная, захлебывающаяся речь подьесаула взбеленила делегата, представителя одной из фронтовых частей:

— А я вам говорю фактично: знаем мы его таланты! Никудышный генерал! В германскую войну отличался неплохо. Так и захряс бы в бригадирах, кабы не революция!

— Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак?

Подьесаул уничтожающе цедил ледяные слова, и казак растерялся, оробел, тушуясь, забормотал:

— Я, ваше благородие, говорю, как сам служил под ихним начальством... Он на астрицком фронте наш полк на колючие заграждения посадил! Потому и считаем мы его никудышным... А там кто его знает... Может, совсем навыворот...

— А за что ему «георгия» дали? Дурак! — Пантелей Прокофьевич подавился сазаньей костью; откашлявшись, напал на фронтовика: — Понабрались дурацкого духу, всех поносите, все вам нехороши... Ишь какую моду взяли! Поменьше б гутарили — не было б такой заварухи. А то ума много нажили. Пустобрехи!

Черкасняя, низовцы горой стояли за Краснова. Старикам был по душе генерал — георгиевский кавалер; многие служили с ним в японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Крас-

нова: гвардеец, светский, блестяще образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества. Либеральную интеллигенцию удовлетворяло то обстоятельство, что Краснов не только генерал, человек строя и военной муштровки, но как-никак и писатель, чьи рассказы из быта офицерства с удовольствием читались в свое время в приложениях к «Ниве»; а раз писатель, — значит, все же культурный человек.

По общежитию за Краснова ярая шла агитация. Перед именем его блекли имена прочих генералов. Об Африкане Богаевском офицеры — приверженцы Краснова — шепотком передавали слухи, будто у Богаевского с Деникиным одна чашка-ложка, и если выбрать Богаевского атаманом, то, как только похерят большевиков и вступят в Москву, — капут всем казачьим привилегиям и автономии.

Были противники и у Краснова. Один делегат-учитель без успеха пытался опорочить генеральское имя. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито, по-комариному звенел в заводосатевшие уши казаков:

— Краснов-то? И генерал паршивый, и писатель ни к черту! Шаркун придворный, подлиза! Человек, который хочет, так сказать, и национальный капитал приобрести, и демократическую невинность сохранить. Вот поглядите, продаст он Дон первому же покупателю, на обчин! Мелкий человек. Политик из него равен нулю. Агеева надо выбирать! Тот — совсем иное дело.

Но учитель успехом не пользовался. И когда 1 мая, на третий день открытия Круга, раздались голоса:

— Пригласить генерала Краснова!

— Милости...

— Покорнейше...

— Просим!

— Нашу гордость!

— Нехай придет, расскажет нам про жизнь! — Весь обширный зал заволновался.

Офицеры басисто захлопали в ладоши, и, глядя на них, немело, негромко стали постукивать и казаки. От черных, выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать — даже неприятный, глубоко противоположный той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры.

А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец генерал, в мунди-

ре, с густым засеваем крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, — зал покрылся рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом генерале, с растроганным и взволнованным лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи.

Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки утирку. «Вот это — генерал! Сразу видать, что человек! Как сам император, ажник подходи-мей на вид. Вроде аж шибается на покойного Александра!» — думал он, умиленно разглядывая стоявшего у рампы Краснова.

— Круг — названный «Кругом спасения Дона» — заседал неспешно. По предложению председателя Круга, есаула Янова, было принято постановление о ношении погонов и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувствованно говорил о «России, поруганной большевиками», о ее «былой мощи», о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков:

— Державный Войсковой круг будет править Донской областью! Казачество, освобожденное революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в старину наши предки, скажем полновзвучным, окрепшим голосом: «Здравствуй, белый царь, в кременной Москве, а мы, казачи, на тихом Дону!»

3 мая на вечернем заседании ста семью голосами против тридцати и при десяти воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войскового есаула, поставив условия: утвердить основные законы, предложенные им Кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти.

— Страна наша накануне гибели! Лишь при условии полнейшего доверия к атаману я возьму пернач. События требуют работать с уверенностью и отрядным сознанием исполняемого долга, когда знаешь, что Круг — верховный выразитель воли Дона — тебе доверяет, когда, в противовес большевистской распушенности и анархии, будут установлены твердые правовые нормы.

Законы, предложенные Красновым, представляли собою нас-пех перелицованные, слегка реставрированные законы преж-

ней империи. Как же Кругу было не принять их? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее: синяя, красная и желтая продольные полосы (казаки, иногородние, калмыки), и лишь правительственный герб, в угоду казачьему духу, претерпел радикальное изменение: взамен хищного двуглавого орла, распростершего крылья и расправившего когти, изображен был нагой казак в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке.

Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос:

— Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах?

Краснов, милостиво улыбаясь, разрешил себе побаловаться шуткой. Он обещающе оглядел членов Круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил:

— Могу. Статьи сорок восьмую, сорок девятую и пятидесятую — о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любую флаг — кроме красного, любой герб — кроме еврейской шестиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн — кроме «Интернационала».

Смеясь, Круг утвердил законы. И после долго из уст в уста переходила атаманская шутка.

5 мая Круг был распущен. Отзвучали последние речи. Командующий Южной группой, полковник Денисов, правая рука Краснова, сулил в самом скором времени вытравить большевистскую крамолу. Члены Круга разъезжались успокоенные, обрадованные и удачным выбором атамана, и сводками с фронта.

Глубоко взволнованный, начиненный взрывчатой радостью, ехал из донской столицы Пантелей Прокофьевич. Он был неколебимо убежден, что пернач попал в надежные руки, что вскоре разобьют большевиков и сыны вернуться к хозяйству. Старик сидел у окна вагона, облокотившись на столик; в ушах его полоскались прощальные звуки донского гимна, до самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в самом деле по-настоящему «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон».

Но, отъехав несколько верст от Новочеркаска, Пантелей Прокофьевич увидел из окна аванпосты баварской конницы. Группа конных немцев двигалась по обочине железнодорожного полотна навстречу поезду. Всадники спокойно сутулились в седлах, упитанные ширококрупные лошади мотали куце обрезанными хвостами, лоснились под ярким солнцем. Кло-

нясь вперед, страдальчески избочив бровь, глядел Пантелей Прокофьевич, как копыта немецких коней победно, с переплясом попирают казачью землю, и долго после понуро горбачился, сопел, повернувшись к окну широкой спиной.

II

С Дона через Украину катились красные составы вагонов, увозя в Германию пшеничную муку, яйца, масло, быков. На площадках стояли немцы в бескозырках, в сине-серых форменных куртках, с привинченными к винтовкам штыками.

Добротные, желтой кожи, немецкие сапоги с окованными по износ каблуками трамбовали донские шляхи, баварская конница поила лошадей в Дону... А на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персиановке, под Новочеркасском, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти половина заново сколоченного 12-го Донского казачьего полка легла под Старобельском, завоевывая области лишний кус украинской территории.

На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рук в руки: занимал отряд казаков-красноармейцев, стекшихся с хуторов Глазуновской, Ново-Александровской, Кумылженской, Скуришенской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан офицера Алексева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда.

На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Красные уходили к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был оставлен ими. К концу лета Донская армия, сбита из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывшими из Новочеркаска офицерами, армия обрела подобие подлинной армии: малочисленные, выставленные станицами, дружины сливались; восстанавливались прежние регулярные полки с прежним, уцелевшим от германской войны, составом; полки сбивались в дивизии; в штабах хорунжих заменили матерые полковники; исподволь менялся и начальствующий состав.

К концу лета боевые единицы, скомпонованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских казаков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое — первую на рубеже слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара.

Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их спешно, не принимая боя, отступали к линии железной дороги красные. За все время татарцы не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета, в переход оставляли за собой не больше трех десятков верст.

На пятые сутки вступили в станицу Кумылженскую. Через Хопер переправлялись на хуторе Дундуковом. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табаком-самосадам.

— Вот забава, будь она проклята! — крикнул Христоня, вытирая рукавом слезившийся глаз.

— Вскочила, что ль? — улыбнулся Григорий.

— Глаз щипет. Стал быть, она ядовитая, дьявол!

Христоня, отдирая красное веко, провел по главному яблоку шершавым пальцем; оттопырив губу, долго тер глаз тыльной стороной ладони.

Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибивался к ним еще Аникушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запохожившийся на бабу.

Отряд насчитывал неполную сотню. У Петра помощником был вахмистр Латышев, вышедший на хутор Татарский в зятя. Григорий командовал взводом. У него почти все казаки были с нижнего конца хутора: Христоня, Аникушка, Федот Бодовсков, Мартин Шамиль, Иван Томилин, жердястый Борщев и медвежковатый увалень Захар Королев, Прохор Зыков, цыганская родня — Меркулов, Епифан Максаев, Егор Синилин и еще полтора десятка молодых ребят-одногодков.

Вторым взводом командовал Николай Кошевой, третьим — Яков Коловейдин и четвертым — Митька Коршунов, после казни Подтелкова спешно произведенный генералом Алферовым в старшие урядники.

Сотня грела коней степной рысью. Дорога обегала залитые водой музги, ныряла в лощинки, поросшие молодой кугой и талами, вилюжилась по лугу.

В задних рядах басисто хохотал Яков Подкова, тенорком подголашивал ему Андрюшка Кашулин, тоже получивший уряд-

ницкие лычки, заработавший их на крови подтелковских сподвижников.

Петро Мелехов ехал с Латышевым сбочь рядов. Они о чем-то тихо разговаривали. Латышев играл свежим темляком шашки. Петро левой рукой гладил коня, чесал ему промеж ушей. На пухлощекоем лице Латышева грелась улыбка, обкуренные, с подточенными коронками зубы изжелта чернели из-под небогатых усов.

Позади всех, на прихрамывающей пегой кобыленке трусил Антип Авдеевич, сын Бреха, прозванный казаками Антипом Бреховичем.

Кое-кто из казаков разговаривал, некоторые, изломав ряды, ехали по пятеро в ряд, остальные внимательно рассматривали незнакомую местность, луг, изъезвленный оспяной рябью озер, зеленую изгородь тополей и верб. По снаряжению видно было, что шли казаки в дальний путь: сумы седел раздуты от клажи, вьюки набиты, в тороках у каждого заботливо увязана шинель. Да и по сбруе можно было судить: каждый ремешок испетлян драткой, все прошито, подогнано, починено. Если месяц назад верилось, что войны не будет, то теперь шли с покорным безотрадным сознанием: крови не избежать. «Нынче носишь шкуру, а завтра, может, вороны будут ее в чистом поле дубить», — думал каждый.

Проехали хутор Крепцы. Крытые камышом редкие курени замигали справа. Аникушка достал из кармана шаровар бурсак, откусил половину, хищно оголив мелкие резцы, и суетливо, как заяц, задвигал челюстями, прожевывая.

Христоня скосился на него:

— Оголодал?

— А то что ж... Жenuшка напекла.

— А и жрать ты здоров! Чрево у тебя, стало быть, как у бобра. — Он повернулся к Григорию и каким-то сердитым и жалующимся голосом продолжал: — Жрет, нечистый дух, неподобно! Куда он столько пихает? Приглядываюсь к нему эти дни, и вроде ажник страшно: сам, стал быть, небольшой, а уж лопает, как на пропасть.

— Свое ем, стараюсь. К вечеру съешь барана, а утром захочешь рано. Мы всякий фрукт потребляем, нам все полезно, что в рот полезло.

Аникушка похохатывал и мигал Григорию на досадливо плевавшего Христоню.

— Петро Пантелеев, ночевку где делаешь? Вишь, коняшки-то поподбились! — крикнул Томилин.

Его поддержал Меркулов:

— Ночевать пора. Солнце садится.

Петро махнул плетью:

— Заночуем в Ключах. А может, и до Кумылги потянем.

В черную курчавую бородку улыбнулся Меркулов, шепнул Томилину:

— Выслуживается перед Алферовым, сука! Спешит...

Кто-то, подстригая Меркулова, из озорства окорнал ему бороду, сделал из пышной бороды бороденку, застругал ее кривым клином. Выглядел Меркулов по-новому, смешно, — это и служило поводом к постоянным шуткам. Томилин не удержался и тут:

— А ты не выслуживаешься?

— Чем это?

— Бороду под генерала подстриг. Небось, думаешь, как обрезают под генерала, так тебе сразу дивизию дадут? А шиша не хочешь?

— Дурак, черт! Ты ему всурьез, а он гнет.

За смехом и разговорами въехали в хутор Ключи. Высланный вперед квартирером Андриушка Кашулин встретил сотню у крайнего двора.

— Наш взвод — за мною! Первому — вот три двора, второму — по левой стороне, третьему — вон энтот двор, где колодезь и ишо четыре сподряд.

Петро подъехал к нему:

— Ничего не слышал? Спрашивал?

— Ими тут и не воняет. А вот медов, парень, тут до черта. У одной старухи триста колодок. Ночью обязательно какой-нибудь расколем!

— Но-но, не дури! А то я расколю! — Петро нахмурился, тронул коня плетью.

Разместились. Убрали коней. Стемнело. Хозяева дали казакам повечерять. У дворов, на ольхах прошлогодней порубки расселись служивые и хуторные казаки. Поговорили о том и сем и разошлись спать.

Наутро выехали из хутора. Почти под самой Кумылженской сотню нагнал нарочный. Петро вскрыл пакет, долго читал его, покачиваясь в седле, натужно, как тяжесть, держа в вытянутой руке лист бумаги. К нему подъехал Григорий:

— Приказ?

— Ага!

— Чего пишут?

— Дела... Сотню велют сдать. Всех моих одногодков отзы-

вают, формируют в Казанке. Двадцать восьмой полк. Батарейцев — тоже и пулеметчиков.

— А остальным куда ж?

— А вот тут прописано: «В Арженовской поступить в распоряжение командира Двадцать второго полка. Двигаться безотлагательно». Ишь ты! «Безотлагательно»!

Подъехал Латышев, взял из рук Петра приказ. Он читал, шевеля толстыми тугими губами, косо изогнув бровь.

— Трогай! — крикнул Петро.

Сотня рванулась, пошла шагом. Казаки, оглядываясь, внимательно посматривали на Петра, ждали, что скажет. Приказ объявил Петро в Кумылженской. Казаки старших годов засуетились, собираясь в обратную дорогу. Решили передневать в станице, а на зорьке другого дня трогаться в разные стороны. Петро, весь день искавший случая поговорить с братом, пришел к нему на квартиру.

— Пойдем на плац.

Григорий молча вышел за ворота. Их догнал было Митька Коршунов, но Петро холодно попросил его:

— Уйди, Митрий. Хочу с братом погутарить.

— Эт-то можно. — Митька понимающе улыбнулся, отстал.

Григорий, искоса наблюдавший за Петром, видел, что тот хочет говорить о чем-то серьезном. Отводя это разгаданное намерение, он заговорил с напускной оживленностью.

— Чудно все-таки: отъехали от дома сто верст, а народ уж другой. Гутарят не так, как у нас, и постройка другого порядка, вроде как у полипонов. Видишь, вот ворота накрыты тесовой крышей, как часовня. У нас таких нету. И вот, — он указал на ближний богатый курень, — заваulinка тоже обметана тесом: чтоб дерево не гнило, так, что ли?

— Оставь. — Петро сморщился. — Не об этом ты гутаришь... Погоди, давай станем к плетню. Люди глядят.

На них любопытствующе поглядывали шедшие с плаца бабы и казаки. Старик в синей распоясанной рубашке и в казачьей фуражке с розовым от старости околышем приостановился:

— Днюете?

— Хотим передневать.

— Овсянец коням есть?

— Есть трошки, — отозвался Петро.

— А то зайдите ко мне, всыплю мерки две.

— Спаси Христос, дедушка!

— Богу святому... Заходи. Вон мой курень, зеленой жестьюкрытый.

— Ты об чем хочешь толковать? — нетерпеливо, хмурясь, спросил Григорий.

— Обо всем. — Петро как-то виновато и вымученно улыбнулся, закусил углом рта пшеничный ус. — Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся...

Неосознанная враждебность к брату, ужалившая было Григория, внезапно исчезла, раздавленная жалкой Петровой улыбкой и давнишним, с детства оставшимся обращением «Гришатка». Петро ласково глядел на брата, все так же длительно и нехорошо улыбаясь. Движением губ он стер улыбку — огрубел лицом, сказал:

— Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехали: один — в одну сторону, другой — в другую, как под лемешом. Чертова жизнь, и время страшное! Один другого уж не угадывает... Вот ты, — круто перевел он разговор, — ты вот — брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь как-то от меня... Правду говорю? — И сам себе ответил: — Правду. Мутишься ты... Боюсь, переметнешься ты к красным... Ты, Гришатка, досе себе не нашел.

— А ты нашел? — спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными черными хлопьями несутся оттуда облака.

— Нашел. Я на свою борозду попал. С нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду.

— Хо? — обозленную выжал Григорий улыбку.

— Не буду!.. — Петро сердито потурсучил ус, часто замигал, будто ослепленный. — Меня к красным арканом не притянешь. Казачество против них, и я против. Суперечить не хочу, не буду! Да ить как сказать... Незачем мне к ним, не по дороге!

— Бросай этот разговор, — устало попросил Григорий.

Он первый пошел к своей квартире, старательно печатая шаг, шевеля сутулым плечом.

У ворот Петро, приотставая, спросил:

— Ты скажи, я знать буду... скажи, Гришка, не переметнешься ты к ним?

— Навряд... Не знаю.

Григорий ответил вяло, неохотно. Петро вздохнул, но расспрашивать перестал. Ушел он взволнованный, осунувшийся. И ему, и Григорию было донельзя ясно: стежки, прежде сплетавшие их, поросли непролазью пережитого, к сердцу не пройти. Так над буераком по кособокому склону скользит, вьется гладкая, выстриженная козьими копытами тропка и вдруг где-нибудь на повороте, нырнув на днище, кончится, как обрезан-

ная, — нет дальше пути, стеной лопушится бурьян, топырясь неприветливым тупиком.

...На следующий день Петро увел назад, в Вешенскую, полвину сотни. Оставшийся молодняк под командой Григория двинулся на Арженовскую.

С утра нещадно пекло солнце. В буром мареве кипятилась степь. Позади голубели лиловые отроги прихонерских гор, шафранным разливом лежали пески. Под всадниками шагом качались потные лошади. Лица казаков побурели, выщвели от солнца. Подушки седел, стремяна, металлические части уздечек накалились так, что рукой не тронуть. В лесу и то не осталось прохлады — парная висела духота, и крепко пахло дождем.

Густая тоска полонила Григория. Весь день он покачивался в седле, несвязно думая о будущем; как горошины стеклянного мониста, перебирал в уме Петровы слова, горько нудился. Терпкий бражный привкус полыни жег губы, дорога дымилась зноем. Навзничь под солнцем лежала золотисто-бурая степь. По ней шарили сухие ветры, мяли шершавую траву, сучили пески и пыль.

К вечеру прозрачная мгла затянула солнце. Небо вылиняло, посерело. На западе грузные появились облака. Они стояли недвижно, прикасаясь обвислыми концами к невнятной, тонко выпряденной нити горизонта. Потом, гонимые ветром, грозно поплыли, раздражающе низко волоча бурые хвосты, сахарно белея округлыми вершинами.

Отряд вторично пересек речку Кумылгу, втиснулся под купол тополевого леса. Листья под ветром рябили молочно-голубой изнанкой, согласно басовито шелестели. Где-то по ту сторону Хопра из ярко-белого подола тучи сыпался и сек землю косою дождь с градом, перепоясанный цветастым кушаком радуги.

Ночевали на хуторе, небольшом и пустынном. Григорий убрал коня, пошел на пасеку. Хозяин, престарелый курчавый казак, выбирая из бороды засетившихся пчел, встревоженно говорил Григорию:

— Вот эту колодку надьсь купил. Перевозил сюда, и детва отчегой-то вся померла. Видишь, тянут пчелы. — Остановившись около долбленого улья, он указал на лётку: пчелы беспрестанно вытаскивали на лазок трупки детвы, слетали с ними, глухо жужжа.

Хозяин жалостливо шурил рыжие глаза, огорченно чмокал губами. Ходил он порывисто, резко и угловато размахивая руками. Чересчур подвижной, груботелый, с обрывчатыми спе-

шашими движениями, он вызывал какое-то беспокойство и казался лишним на пчельнике, где размеренно и слаженно огромнейший коллектив пчел вел медлительную мудрую работу. Григорий присматривался к нему с легким чувством недоброжелательства. Чувство это непроизвольно порождает состряпанный из порывов пожилой, широкоплечий казак, говоривший скрипуче и быстро:

— Нонешний год взятка хороша. Чебор цвел здорово, несли с него. Рамошные — способней ульи. Завожу вот...

Григорий пил чай с густым, тянким, как клей, медом. Мед сладко пахнул чебрецом, тройцей, луговым цветом. Чай разливала дочь хозяина — высокая красивая жалмерка. Муж ее ушел с красными, поэтому хозяин был угодлив, смирен. Он не замечал, как дочь его из-под ресниц быстро поглядывала на Григория, сжимая тонкие неяркие губы. Она тянулась рукой к чайнику, и Григорий видел смолисто-черные курчеватые волосы под мышкой. Он не раз встречал ее шупающий, любознательный взгляд, и даже показалось ему, что, столкнувшись с ним взглядом, порозовела в скулах молодая казачка и согрела в углах губ припрятанную усмешку.

— Я вам в горнице постелю, — после чая сказала она Григорию, проходя с подушкой и полстью мимо и обжигая его откровенным голодным взглядом. Взбивая подушку, будто между прочим сказала невнятно и быстро: — Я под сараем ляжу... Душно в куренях, блохи кусают...

Григорий, скинув одни сапоги, пошел к ней под сарай, как только услышал храп хозяина. Она уступила ему место рядом с собой на снятой с передка арбе и, натягивая на себя овчинную шубу, касаясь Григория ногами, притихла. Губы у нее были сухи, жестки, пахли луком и незахвачанным запахом свежести. На ее тонкой и смуглой руке Григорий прозревал до рассвета. Она с силой всю ночь прижимала его к себе, ненасытно ласкала и со смешками, с шутками в кровь искусила ему губы и оставила на шее, груди и плечах лиловые пятна поцелуев-укусов и крохотные следы своих мелких зверушечьих зубов. После третьих кочетов Григорий собрался было перекочевать в горницу, но она его удержала.

— Пусти, любушка, пусти, моя ягодка! — упрашивал Григорий, улыбаясь в черный поникший ус, мягко пытаясь освободиться.

— Полежи ишо чудок... Полежи!

— Да ить увидют! Гля, скоро рассветит!

— Ну и нехай!

— А отец?

— Батяня знает.

— Как знает? — Григорий удивленно подрожал бровью.

— А так...

— Вот так голос! Откель же он знает?

— Он, видишь... он вчерась мне сказал: дескать, ежели будет офицер приставать, переспи с ним, примолви его, а то за Гераську коней заберут либо ишо чего... Муж-то, Герасим мой, с красными...

— Во-он-он как! — Григорий насмешливо улыбнулся, но в душе был обижен.

Неприятное чувство рассеяла она же. Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздрогнула:

— Мой-то разлюбезный не такой, как ты...

— А какой же он? — заинтересовался Григорий, потрезвелыми глазами глядя на бледнеющую вершину неба.

— Никудышный... квёлый... — Она доверчиво потянулась к Григорию, в голосе ее зазвучали сухие слезы. — Я с ним безо всякой сладости жила. Неож он по бабьему делу...

Чужая, детски наивная душа открывалась перед Григорием просто, как открывается, впитывая росу, цветок. Это пьянило, будило легкую жалость. Григорий, жалея, ласково гладил растрепанные волосы своей случайной подруги, закрывал усталые глаза.

Сквозь камышовую крышу навеса сочился гаснущий свет месяца. Сорвалась и стремительно скатилась к горизонту падающая звезда. В пруду на пепельном небе фосфорический стынущий след. В пруду закрякала матерка, с любовной сипотцой отозвался селезень.

Григорий ушел в горницу, легко неся опорожненное, налитое сладостным звоном устали тело. Он уснул, ощущая на губах солонцеватый запах ее губ, бережно храня в памяти охочее на ласку тело казачки и запах его — сложный запах чебрецового меда, пота и тепла.

Через два часа его разбудили казаки. Прохор Зыков оседлал ему коня, вывел за ворота. Григорий попрощался с хозяином, твердо выдержав его задымленный враждебностью взгляд, — кивнул головой проходившей в курень хозяйской дочери. Она наклонила голову, тепля в углах тонких, неярко окрашенных губ улыбку и невнятную горечь сожаления.

По проулку ехал Григорий, оглядываясь. Проулок полудугой огибал двор, где он ночевал, и он видел, как пригретая им казачка смотрела через плетни ему вслед, поворачивая голову,

шитком выставив над глазами узкую загорелую ладонь. Григорий с неожиданной ворохнувшейся тоской оглядывался, пытался представить себе выражение ее лица, всю ее — и не мог. Он видел только, что голова казачки в белом платке тихо поворачивается, следя глазами за ним. Так поворачивается шляпка подсолнечника, наблюдавшего за медлительным кружным походом солнца.

* * *

Этапным порядком гнали Кошевого Михаила из Вешенской на фронт. Дошел он до Федосеевской станицы, там его станичный атаман задержал на день и под конвоем отправил обратно в Вешенскую.

— Почему отсылаете назад? — спросил Михаил станичного писаря.

— Получено распоряжение из Вешек, — неохотно ответил тот.

Оказалось, что Мишкина мать, ползая на коленях на хуторском сборе, упросила стариков, и те написали от общества приговор с просьбой Михаила Кошевого как единственного кормильца в семье назначить в атарщики. К вешенскому станичному атаману с приговором ездил сам Мирон Григорьевич. Упросил.

В станичном правлении атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, сердито закончил:

— Большевикам мы не доверяем защиту Дона! Отправляйся на отвод, послужишь атарщиком, а там видно будет. Смотри у меня, сукин сын! Мать твою жалко, а то бы... Ступай!

По раскаленным улицам Мишка шел уже без конвоира. Скатка резала плечо. Натруженные за полтора верста ходьбы ноги отказывались служить. Он едва дотянул к ночи до хутора, а на другой день, оплаканный и обласканный матерью, уехал на отвод, увозя в памяти постаревшее лицо матери и впервые замеченную им пряду седин на ее голове.

К югу от станицы Каргинской, на двадцать восемь верст в длину и шесть в ширину, разлеглась целинная, извеку не паханная заповедная степь. Кус земли во многие тысячи десятин был отведен под попас станичных жеребцов, потому и назван — отводом. Ежегодно на Егорьев день из Вешенской, из зимних конюшен, выводили атарщики отстоявшихся за зиму жеребцов, гнали их на отвод. На станичные деньги была выстроена посреди отвода конюшня с летними открытыми стан-

ками на восемнадцать жеребцов, с рубленой казармой около для атарщиков, смотрителя и ветеринарного фельдшера. Казаки Вешенского юрта пригоняли маток-кобылиц, фельдшер со смотрителем следили при приеме маток, чтоб ростом каждая была не меньше двух аршин и возрастом не моложе четырех лет. Здоровых отбивали в косяки штук по сорок. Каждый жеребец вводил свой косяк в степь, ревниво соблюдая кобылиц.

Мишка ехал на единственной в его хозяйстве кобыле. Мать, провожая его, утирая завеской слезы, говорила:

— Огуляется, может, кобылка-то... Ты уж блюди ее, не заезживай. Ишо одну лошадь — край надо!

В полдень за парным маревом, струившимся поверх ложбины, увидел Мишка железную крышу казармы, изгородь, серую от непогоды тесовую крышу конюшни. Он заторопил кобылу: выправившись на гребень, отчетливо увидел постройки и молочный разлив травы за ними. Далеко-далеко на востоке гнедым пятном темнел косяк лошадей, бежавших к пруду; в стороне от них рысил верховой атарщик — игрушечный человек, приклеенный к игрушечному коньку.

Въехав во двор, Мишка спешил, привязал поводья к крыльцу, вошел в дом. В просторном коридоре ему повстречался один из атарщиков, невысокий веснушчатый казак.

— Кого надо? — недружелюбно спросил он, оглядывая Мишку с ног до головы.

— Мне бы до смотрителя.

— Струкова? Нету, весь вышел. Сазонов, помочник ихний, тут. Вторая дверь с левой руки... А на что понадобился? Ты откель?

— В атарщики к вам.

— Пихают абы кого...

Бормоча, он пошел к выходу. Веревочный аркан, перекинутый через плечо, волочился за ним по полу. Открыв дверь и стоя к Мишке спиной, атарщик махнул плетью, уже миролюбиво сказал:

— У нас, братушка, служба чижелая. Иной раз по двое суток с коня не слазишь.

Мишка глядел на его нераспрявленную спину и резко выгнутые ноги. В просвете двери каждая линия нескладной фигуры казака вырисовывалась рельефно и остро. Колесом изогнутые ноги атарщика развеселили Мишку. «Будто он сорок лет верхом на бочонке сидел», — подумал, усмехаясь про себя, разыскивая глазами дверную ручку.

Сазонов принял нового атарщика величественно и равнодушно.

Вскоре приехал откуда-то и сам смотритель, здоровенный казачина, вахмистр Атаманского полка Афанасий Струков. Он приказал зачислить Кошевого на довольствие, вместе с ним вышел на крыльцо, накаленное белым застойным зноем.

— Неуков учить умеешь? Объезживал?

— Не доводилось, — чистосердечно признался Мишка и сразу заметил, как посоловевшее от жары лицо смотрителя оживилось, струей прошло по нему недовольство.

Почесывая потную спину, выгибая могучие лопатки, смотритель тупо глядел Мишке меж глаз:

— Арканом можешь накидывать?

— Могу.

— А коней жалеешь?

— Жалею.

— Они — как люди, немые только. Жалей, — приказал он и, беспричинно свирепея, крикнул: — Жалеть, а не то что — арапником!

Лицо его на минуту стало и осмысленным и живым, но сейчас же оживление исчезло, твердой корой тупого равнодушия поросла каждая черта.

— Женатый?

— Никак нет.

— Вот и дурак! Женился бы, — обрадованно подхватил смотритель.

Он выжидающе помолчал, с минуту глядел на распахнутую грудь степи, потом, зевая, пошел в дом. Больше за месяц службы в атарщиках Мишка не слышал от него ни единого слова.

Всего на отводе было пятьдесят пять жеребцов. На каждого атарщика приходилось по два, по три косяка. Мишке поручили большой косяк, водимый могучим старым жеребцом Бахарем, и еще один, поменьше, насчитывающий около двадцати маток, с жеребцом по кличке Банальный. Смотритель призвал атарщика Солдатова Илью, одного из самых расторопных и бесстрашных, поручил ему:

— Вот новый атарщик, Кошевой Михаил с Татарского хутора. Укажи ему косяки Банального и Бахаря, аркан ему дай. Жить будет в вашей будке. Указывай ему. Ступайте.

Солдатов молча закурил, кивнул Мишке:

— Пойдем.

На крыльце спросил, указывая глазами на сомлевшую под солнцем Мишкину кобыленку:

— Твоя животина?

— Моя.

— Сжеребая?

— Нету.

— С Бахарем случи. Он у нас Королёвского завода, полумесок с англичанином. Ай да и резвен!.. Ну садись.

Ехали рядом. Лошади по колено брели в траве. Казарма и конюшня остались далеко позади. Впереди, повитая нежнейшим голубым куревом, величественно безмолвствовала степь. В зените, за прядью опаловых облачков, томилось солнце. От жаркой травы стлался тягучий густой аромат. Справа, за туманной очерченной впадиной лога, жемчужно-улыбчиво белела полоска Жирова пруда. А кругом — насколько хватал глаз — зеленый необъятный простор, дрожащие струи марева, полуденным зноем скованная древняя степь и на горизонте — недосыгаем и сказочен — сизый грудастый курган.

Травы от корня зеленели густо и темно, вершинки просвечивали на солнце, отливали медянкой. Лохматился невызревший султанистый ковыль, круговинами шла по нему вихрастая имурка, пырей жадно стремился к солнцу, вытягивая обзерненную головку. Местами слепо и цепко прижимался к земле низкорослый железняк, изредка промереженный шалфеем, и вновь половодьем расстилался взявший засилье ковыль, сменяясь разноцветьем: овсюгом, желтой сурепкой, молочаем, чингиской — травой суровой, однолюбой, вытеснявшей с занятой площади все остальные травы.

Казачи ехали молча. Мишка испытывал давно не веданное им чувство покорной умиротворенности. Степь давила его тишиной, мудрым величием. Спутник его просто спал в седле, клонясь к конской гриве, сложив на луке веснушчатые руки словно перед принятием причастия.

Из-под ног взвился стрепет, потянул над балкой, искрясь на солнце белым пером. Приминая травы, с юга поплыл ветерок, с утра, может быть, бороздивший Азовское море.

Через полчаса наехали на косяк, пасшийся возле Осинового пруда. Солдатов проснулся, потягиваясь в седле, лениво сказал:

— Ломакина Пантелюшки косяк. Чтой-то его не видно.

— Как жеребца кличут? — спросил Мишка, любуясь светлорыжим длинным донцом.

— Фразер. Злой, проклятый! Ишь вылутился как! Повел!

Жеребец двинулся в сторону, и за ним, табунясь, пошли кобылицы.

Мишка принял отведенные ему косяки и сложил свои пожитки в полевой будке. До него в будке жили трое: Солдатов, Ломакин и наемный косячник — немолодой молчаливый казак Туроверов. Солдатов числился у них старшим. Он охотно ввел Мишку в курс обязанностей, на другой же день рассказал ему про характеры и повадки жеребцов и, тонко улыбаясь, посоветовал:

— По праву должен ты службу на своей коняке несть, но ежели на ней изо дня в день мотаться — поставишь на постав. А ты пусти ее в косяк, чужую заседлай и меняй их почаще.

На Мишкиных глазах он отбил от косяка одну матку и, расказававшись, привычно и ловко накиннул на нее аркан. Оседлал ее Мишкиным седлом, подвел, дрожащую, приседающую на задние ноги, к нему.

— Садись. Она, видно, неука, черт! Садись же! — крикнул он сердито, правой рукой с силой натягивая поводья, левой сжимая кобылицын раздувающийся храп. — Ты с ними помягче. Это на конюшне зыкнешь на жеребца: «К одной!» — он и жметя к одной стороне станка, а тут не балуйся! Бахаря особливо опасайся, близко не подъезжай, зашибет, — говорил он, держась за стремя и любовно лапая переступавшую с ноги на ноги кобылку за тугое атласно-черное вымя.

III

Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в седле. Степь его покоряла, властно принуждала жить первобытной, растительной жизнью. Косяк ходил где-нибудь неподалеку. Мишка или сидя дремал в седле, или, валяясь на траве, бездумно следил, как, пасомые ветром, странствуют по небу косяки опущенных изморозной белью туч. Вначале такое состояние отрешенности его удовлетворяло. Жизнь на отводе, вдали от людей, ему даже нравилась. Но к концу недели, когда он уже освоился в новом положении, проснулся невнятный страх. «Там люди свою и чужую судьбу решают, а я кобылок пасу. Как же так? Уходить надо, а то засосет», — трезвея, думал он. Но в сознании сочился и другой, ленивый нашепот: «Пусть там воюют, там смерть, а тут — приволье, трава да небо. Там злоба, а тут мир. Тебе-то что за дело до остальных?..» Мысли стали ревниво точить покорную Мишкину успокоенность. Это погнало его к людям, и он уже чаще, нежели в первые дни, искал

встреч с Солдатовым, гулявшим со своими косяками в районе Дударева пруда, пытался сблизиться с ним.

Солдатов тягот одиночества, видимо, не чувствовал. Он редко ночевал в будке и почти всегда — с косяком или возле пруда. Жил он звериной жизнью, сам промышлял себе пищу и делал это необычайно искусно, словно всю жизнь только этим и занимался. Однажды увидел Мишка, как он плел лесу из конского волоса. Заинтересовавшись, спросил:

— На что плетешь?

— На рыбу.

— А где она?

— В пруду. Караси.

— За глиста ловишь?

— За хлеб и за глиста.

— Варишь?

— Подвялю и ем. На вот, — радушно угостил он, вынимая из кармана шаровар вяленого карася.

Как-то, следуя за косяком, напал Мишка на пойманного в силок стрепета. Возле стояло мастерски сделанное чучело стрепета и лежали искусно скрытые в траве силки, привязанные к колышку. Стрепета Солдатов в этот же вечер изжарил в земле, предварительно засыпав ее раскаленными угольями. Он пригласил вечерять и Мишку. Раздирая пахучее мясо, попросил:

— В другой раз не сымай, а то мне дело попортишь.

— Ты как попал сюда? — спросил Мишка.

— Кормилец я.

Солдатов помолчал и вдруг спросил:

— Слухай, а правду брешут ребята, что ты из красных?

Кошевой, не ожидавший такого вопроса, смутился:

— Нет... Ну, как сказать... Ну да, уходил я к ним... Поймали.

— Зачем уходил? Чего искал? — суровая глазами, тихо спросил Солдатов и стал жевать медленней.

Они сидели возле огня на гребне сухой балки. Кизяки чадно дымили, из-под золы просился наружу огонек. Сзади сухим теплом и запахом вянувшей полыни дышала им в спины ночь. Воронье небо полосовали падучие звезды. Падала одна, а потом долго светлел ворсистый след, как на конском крупе после удара кнутом.

Мишка настороженно всматривался в лицо Солдатова, тронутое позолотой огневого отсвета, ответил:

— Правов хотел добиться.

— Кому? — с живостью встрепенулся Солдатов.

— Народу.

— Каких же правóв? Ты Расскажи.

Голос Солдатова стал глух и вкрадчив. Мишка секунду колебался — ему подумалось, что Солдатов нарочно положил в огонь свежий кизяк, чтобы скрыть выражение своего лица. Решившись, заговорил:

— Равноправия всем — вот каких! Не должно быть ни панов, ни холопов. Понятно? Этому делу решку наведут.

— Думаешь, не осилют кадеты?

— Ну да — нет.

— Ты, значит, вот чего хотел... — Солдатов перевел дух и вдруг встал. — Ты, сукин сын, казачество жидам в кабалу хотел отдать?! — крикнул он пронзительно, зло. — Ты... в зубы тебе, и все вы такие-то, хотите искоренить нас?! Ага, вон как!.. Чтобы по степу жида фабрик своих понастроили? Чтоб нас от земли отнять?!

Мишка, пораженный, медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что Солдатов хочет его ударить. Он отшатнулся, и тот, видя, что Мишка испуганно ступил назад, — размахнулся. Мишка поймал его за руку на лету; сжимая в запястье, обещающе посоветовал:

— Ты, дядя, оставь, а то я тебя помету! Ты чего расшумелся?

Они стояли в темноте друг против друга. Огонь, затоптанный ногами, погас; лишь с краю ало дымился откатившийся в сторону кизяк. Солдатов левой рукой схватился за ворот Мишкиной рубахи; стягивая его в кулаке, поднимая, пытался освободить правую руку.

— За грудки не берись! — хрипел Мишка, ворочая сильной шеей. — Не берись, говорю! Побью, слышишь?..

— Не-е-ет, ты... побью... погоди! — задыхался Солдатов.

Мишка, освободившись, с силой откинул его от себя и, испытывая омерзительное желание ударить, сбить с ног и дать волю рукам, судорожно оправлял рубаху.

Солдатов не подходил к нему. Скрипя зубами, он впере-мешку с матюками выкрикивал:

— Донесу!.. Зараз же к смотрителю! Я тебя упеку!.. Гадюка! Гад!.. Большевик!.. Как Подтелкова, тебя надо! На сук! На шворку!

«Донесет... набрешет... Посадят в тюрьму... На фронт не пошлют — значит, к своим не перебегу. Пропал!» — Мишка похолодел, и мысль его, ища выхода, заметалась отчаянно, как мечется сула в какой-нибудь ямке, отрезанная сбывающей полой водой от реки. «Убить его! Задушу сейчас... Иначе нельзя...» И, уже подчиняясь этому мгновенному решению, мысль

подыскивала оправдания: «Скажу, что кинулся меня бить... Я его за глотку... нечаянно, мол... Сгоряча...»

Дрожа, шагнул Мишка к Солдатову, и если бы тот побежал в этот момент, скрестились бы над ними смерть и кровь. Но Солдатов продолжал выкрикивать ругательства, и Мишка потух, лишь ноги хлипко задрожали, да пот проступил на спине и под мышками.

— Ну, погоди... Слышишь? Солдатов, постой. Не шуми. Ты же первый затеял.

И Мишка стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза:

— Мало ли чего не бывает между друзьями... Я же тебя не ударил... А ты — за грудки... Ну, чего я такого сказал? И все это надо доказывать?.. Ежели обидел, ты прости... ей-богу! Ну?

Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. Минуту спустя сказал, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной, потной руки Кошевого:

— Крутишь хвостом, как гад! Ну да уж ладно, не скажу. Дурость твою жалею... А ты мне на глаза больше не попадайся, зрить тебя больше не могу. Сволочь ты! Жидам ты проданся, а я не жалею таких людей, какие за деньги продаются.

Мишка приниженно и жалко улыбался в темноту, хотя Солдатов лица его не видел, как не видел того, что кулаки Мишки сжимаются и пухнут от прилива крови.

Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой яростно хлестал лошадь, скакал, разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, погромыхивал гром.

В эту ночь над отводом прошла гроза. К полуночи, как запаленный, сапно дыша, с посвистом пронесся ветер, за ним невидимым подолом потянулись густая прохлада и горькая пыль.

Небо нахмурилось. Молния наискось распахала взбуренную черноземно-черную тучу, долго копилась тишина, и где-то далеко предупреждающе громыхал гром. Ядреный дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертившей круг, Кошевой увидел ставшую вполне бурю тучу, по краям, обугленно-черную, грозную, и на земле, распростертой под нею, крохотных, сбившихся в кучу лошадей. Гром обрушился с ужасающей силой, молния стремительно шла к земле. После нового удара из недр тучи потоками прорвался дождь, степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы Кошевого мокрую фуражку, с силой пригнул его к луке седла. С минуты чернея, полоскалась тишина, потом вновь по небу заджи-

гитовала молния, усугубив дьявольскую темноту. Последующий удар грома был столь силен, сух и раскатисто-трескуч, что лошадь Кошевого присела и, вспрянув, завилась в дыбки. Лошади в косяке затоптали. Со всей силой натягивая поводья, Кошевой крикнул, желая ободрить лошадей:

— Стой!.. Тррр!..

При сахарно-белом зигзаге молний, продолжительно скользившем по гребням тучи, Кошевой увидел, как косяк мчался на него. Лошади стлались в бешеном намете, почти касаясь лоснящимися мордами земли. Раздутые ноздри их с храпом хватали воздух, некованные копыта выбивали сырой гул. Впереди, забирая предельную скорость, шел Бахарь. Кошевой рванул лошадь в сторону и едва-едва успел проскочить. Лошади промчались и стали неподалеку. Не зная того, что косяк, взволнованный и напуганный грозой, кинулся на его крик, Кошевой вновь еще громче зыкнул:

— Стойте! А ну!

И опять — уже в темноте — с чудовищной быстротой устремился к нему грохот копыт. В ужасе ударил кобыленку свою плетью меж глаз, но уйти в сторону не успел. В круп его кобылицы грудью ударилась какая-то обезумевшая лошадь, и Кошевой, как кинутый пращой, вылетел из седла. Он уцелел только чудом: косяк основной массы шел правее его, поэтому его не затоптали, а лишь одна какая-то матка вдавила ему копытом правую руку в грязь. Мишка поднялся и, стараясь хранить возможную тишину, осторожно пошел в сторону. Он слышал, что косяк неподалеку ждет крика, чтобы вновь устремиться на него в сумасшедшем намете, и слышал характерный, отличный похрап Бахаря.

В будку пришел Кошевой только перед светом.

IV

15 мая атаман Всевеликого войска Донского Краснов, сопровождаемый председателем совета управляющих, управляющим отделом иностранных дел генерал-майором Африканом Богаевским, генерал-квартирмейстером Донской армии полковником Кисловым и кубанским атаманом Филимоновым, прибыл на пароходе в станицу Маньчскую.

Хозяева земли донской и кубанской скучающе смотрели с палубы, как причаливает к пристани пароход, как суетятся матросы и, закипая, идет от сходней бурая волна. Потом сошли

на берег, провожаемые сотнями глаз собравшейся у пристани толпы.

Небо, горизонты, день, тонкоструйное марево — все синее. Дон — и тот отликает не присущей ему голубишной, как вогнутое зеркало, отражая снежные вершины туч.

Запахами солнца, сохлых солончаков и созревшей прошлогодней травы налитан ветер. Толпа шуршит говором. Генералы, встреченные местными властями, едут на плац.

В доме станичного атамана через час началось совещание представителей донского правительства и Добровольческой армии. От Добровольческой армии прибыли генералы Деникин и Алексеев в сопровождении начштаба армии генерала Романовского, полковников Ряснянского и Эвальда.

Встреча дышала холодком. Краснов держался с тяжелым достоинством. Алексеев, поздоровавшись с присутствующими, присел к столу; подперев сухими белыми ладонями обвислые щеки, безучастно закрыл глаза. Его укачала езда в автомобиле. Он как бы ссохся от старости и пережитых потрясений. Излучины сухого рта трагически опущены, голубые, иссеченные прожилками веки припухлы и тяжки. Множество мельчайших морщинок веером рассыпалось к вискам. Пальцы, плотно прижавшие дряблую кожу щек, концами зарывались в старчески желтоватые, коротко остриженные волосы. Полковник Ряснянский бережно расстилал на столе похрустывающую карту, ему помогал Кислов. Романовский стоял около, придерживая ногтем мизинца угол карты. Богаевский прислонился к невысокому окну, с щемящей жалостью вглядываясь в бесконечно усталое лицо Алексеева. Оно белело, как гипсовая маска. «Как он постарел! Ужасно как постарел!» — мысленно шептал Богаевский, не спуская с Алексеева влажных миндалевидных глаз. Еще не успели присутствовавшие усесться за стол, как Деникин, обращаясь к Краснову, заговорил, взволнованно и резко:

— Прежде чем открыть совещание, я должен заявить вам: нас крайне удивляет то обстоятельство, что вы в диспозиции, отданной для овладения Батайском, указываете, что в правой колонне у вас действует немецкий батальон и батарея. Должен признаться, что факт подобного сотрудничества для меня более чем странен... Вы позволите узнать, чем руководствовались вы, входя в сношение с врагами родины — с бесчестными врагами! — и пользуясь их помощью? Вы, разумеется, осведомлены о том, что союзники готовы оказать нам поддержку?.. Добровольческая армия расценивает союз с немцами как из-

мену делу восстановления России. Действия донского правительства находят такую же оценку и в широких союзнических кругах. Прошу вас объясниться.

Деникин, зло изогнув бровь, ждал ответа.

Только благодаря выдержке и присущей ему светскости Краснов хранил внешнее спокойствие; но негодование все же осиливало: под седеющими усами нервный тик подергивал и искажал рот. Очень спокойно и очень учтиво Краснов отвечал:

— Когда на карту ставится участь всего дела, не брезгают помощью и бывших врагов. И потом вообще правительство Дона, правительство пятимиллионного суверенного народа, никем не опекаемое, имеет право действовать самостоятельно, сообразно интересам казачества, кои призвано защищать.

При этих словах Алексеев открыл глаза и, видимо, с большим напряжением пытался слушать внимательно, Краснов глянул на Богаевского, нервически крутившего выхолненный в стрелку ус, и продолжал:

— В ваших рассуждениях, ваше превосходительство, превалируют мотивы, так сказать, этического порядка. Вы сказали очень много ответственных слов о нашей якобы измене делу России, об измене союзникам... Но я полагаю, вам известен тот факт, что Добровольческая армия получала от нас снаряды, проданные нам немцами?..

— Прошу строго разграничивать явления глубоко различного порядка! Мне нет дела до того, каким путем вы получаете от немцев боеприпасы, но — пользоваться поддержкой их войск!.. — Деникин сердито вздернул плечами.

Краснов, кончая речь, вскользь, осторожно, но решительно дал понять Деникину, что он не прежний бригадный генерал, каким тот видел его на австро-германском фронте.

Разрушив неловкое молчание, установившееся после речи Краснова, Деникин умно перевел разговор на вопросы слияния Донской и Добровольческой армий и установления единого командования. Но предшествовавшая этому стычка, по сути, послужила началом дальнейшего, непрестанно развивавшегося между ними обострения отношений, окончательно порванных к моменту ухода Краснова от власти.

Краснов от прямого ответа ускользнул, предложив взамен совместный поход на Царицын, для того чтобы, во-первых, овладеть крупнейшим стратегическим центром и, во-вторых, удержав его, соединиться с уральскими казаками.

Прозвучал короткий разговор:

— ...Вам не говорить о той колоссальной значимости, которую представляет для нас Царицын.

— Добровольческая армия может встретиться с немцами. На Царицын не пойду. Прежде всего я должен освободить кубанцев.

— Да, но все же взятие Царицына — кардинальнейшая задача. Правительство Войска Донского поручило мне просить ваше превосходительство.

— Повторяю: бросить кубанцев я не могу.

— Только при условии наступления на Царицын можно говорить об установлении единого командования.

Алексеев неодобрительно пожевал губами.

— Немыслимо! Кубанцы не пойдут из пределов области, не окончательно очищенной от большевиков, а в Добровольческой армии две с половиной тысячи штыков, причем третья часть — вне строя: раненые и больные.

За скромным обедом вяло перебрасывались незначущими замечаниями — было ясно, что соглашение достигнуто не будет. Полковник Ряснянский рассказал о каком-то веселом полуанекдотическом подвиге одного из марковцев, и постепенно, под совместным действием обеда и веселого рассказа, напряженность рассеялась. Но когда после обеда, закуривая, разошлись по горнице, Деникин, тронув плечо Романовского, указал острыми прищуренными глазами на Краснова, шепнул:

— Наполеон областного масштаба... Неумный человек, знаете ли...

Улыбнувшись, Романовский быстро ответил:

— Княжить и владеть хочется... Бригадный генерал упивается монаршей властью. По-моему, он лишен чувства юмора...

Разъехались, преисполненные вражды и неприязни. С этого дня отношения между Добрармией и донским правительством резко ухудшаются, ухудшение достигает апогея, когда командованию Добрармии становится известным содержание письма Краснова, адресованного германскому императору Вильгельму. Раненые добровольцы, отлеживавшиеся в Новочеркасске, посмеивались над стремлением Краснова к автономии и над слабостью его по части восстановления казачьей старинки, в кругу своих презрительно называли его «хузяином», а Всевеликое Войско Донское переименовали во «всевеселое». В ответ на это донские самостийники величали их «странствующими музыкантами», «правителями без территории». Кто-то из «великих» в Добровольческой армии едко сказал про донское правительство: «Проститутка, зарабатывающая на немецкой по-

стели». На это последовал ответ генерала Денисова: «Если правительство Дона — проститутка, то Добровольческая армия — кот, живущий на средства этой проститутки».

Ответ был намеком на зависимость Добровольческой армии от Дона, делившего с ней получаемое из Германии боевое снаряжение.

Ростов и Новочеркасск, являвшиеся тылом Добровольческой армии, кишели офицерами. Тысячи их спекулировали, служили в бесчисленных тыловых учреждениях, ютились у родных и знакомых, с поддельными документами о ранениях лежали в лазаретах... Все наиболее мужественные гибли в боях, от тифа, от ран, а остальные, растерявшие за годы революции и честь и совесть, по-шакальи прятались в тылах, грязной накипью, навозом плавали на поверхности бурных дней. Это были еще те нетронутые, залежалые кадры офицерства, которые некогда громил, обличал, стыдил Чернецов, призывая к защите России. В большинстве они являли собой самую пакостную разновидность так называемой «мыслящей интеллигенции», облаченной в военный мундир: от большевиков бежали, к белым не пристали, понемножку жили, спорили о судьбах России, зарабатывали детишкам на молочишко и страстно желали конца войны.

Для них было все равно, кто бы ни правил страной, — Краснов ли, немцы ли, или большевики, — лишь бы конец.

А события грохотали изо дня в день. В Сибири — чехословацкий мятеж, на Украине — Махно, возмужало заговоривший с немцами на наречии орудий и пулеметов. Кавказ, Мурманск, Архангельск... Вся Россия стянута обручами огня... Вся Россия — в муках великого передела...

В июне по Дону широко, как восточные ветры, загуляли слухи, будто чехословаки занимают Саратов, Царицын и Астрахань с целью образовать по Волге восточный фронт для наступления на германские войска. Немцы на Украине неохотно стали пропускать офицеров, пробиравшихся из России под знамена Добровольческой армии.

Германское командование, встревоженное слухами об образовании «восточного фронта», послало на Дон своих представителей. 10 июля в Новочеркасск прибыли майоры германской армии — фон Кокенхаузен, фон Стефани и фон Шлейниц.

В этот же день они были приняты во дворце атаманом Красновым в присутствии генерала Богаевского.

Майор Кокенхаузен, упомянув о том, что германское командование всеми силами, вплоть до вооруженного вмеша-

тельства, помогало Великому войску Донскому в борьбе с большевиками и восстановлении границ, спросил, как будет реагировать правительство Дона, если чехословаки начнут против немцев военные действия. Краснов уверил его, что казачество будет строго блюсти нейтралитет и, разумеется, не позволит сделать Дон ареной войны. Майор фон Стефани выразил пожелание, чтобы ответ атамана был закреплен в письменной форме.

На этом аудиенция кончилась, а на другой день Краснов написал следующее письмо германскому императору:

Ваше императорское и королевское величество! Податель сего письма, атаман Зимовой станицы (посланник) Всевеликого Войска Донского при дворе вашего императорского величества и его товарищи уполномочены мною, донским атаманом, приветствовать ваше императорское величество, могущественного монарха великой Германии, и передать нижеследующее:

Два месяца борьбы доблестных донских казаков, которую они ведут за свободу своей Родины с таким мужеством, с каким в недавнее время вели против англичан родственные германскому народу буры, увенчались на всех фронтах нашего государства полной победой, и ныне земля Всевеликого Войска Донского на $\frac{9}{10}$ освобождена от диких красногвардейских банд. Государственный порядок внутри страны окреп, и установилась полная законность. Благодаря дружеской помощи войск вашего императорского величества создалась тишина на юге Войска, и мною приготовлен корпус казаков для поддержания порядка внутри страны и воспрепятствования натиску врагов извне. Молодому государственному организму, каковым в настоящее время является Донское войско, трудно существовать одному, и поэтому оно заключило тесный союз с главами астраханского и кубанского войска, полковником князем Тундутовым и полковником Филимоновым, с тем чтобы по очищению земли астраханского войска и Кубанской области от большевиков составить прочное государственное образование на началах федерации из Всевеликого Войска Донского, астраханского войска с калмыками Ставропольской губ., кубанского войска, а также народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь образуемое государство, в полном согласии со Всевеликим Войском Донским, решило не допускать до того, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений, и обязалось держать пол-

ный нейтралитет. Атаман Зимовой станицы нашей при дворе вашего императорского величества уполномочен мною:

Просить ваше императорское величество признать права Всевеликого Войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения последних кубанских, астраханских и терских войск и Северного Кавказа — право на самостоятельное существование и всей федерации под именем Доно-Кавказского союза.

Просить признать ваше императорское величество границы Всевеликого Войска Донского в прежних географических и этнографических его размерах, помочь разрешению спора между Украиной и Войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу Войска Донского, которое владеет Таганрогским округом более 500 лет и для которого Таганрогский округ является частью Тмутаракани, от которой и стало Войско Донское.

Просить ваше величество содействовать о присоединении к Войску, по стратегическим соображениям, городов Камышина и Царицына, Саратовской губернии и города Воронежа и станции Лиски и Поворино и провести границу Войска Донского, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице.

Просить ваше величество оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого Войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной Армии и дать возможность восстановить нормальные, мирные отношения между Москвой и Войском Донским. Все убытки населения Войска Донского, торговли и промышленности, происшедшие от нашествия большевиков, должны быть возмещены советской Россией.

Просить ваше императорское величество помочь молодому нашему государству орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом и, если признаете это выгодным, устроить в пределах Войска Донского оружейный, оружейный, снарядный и патронный заводы.

Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-Кавказского союза не забудут дружеские услуги германского народа, с которым казаки бились плечом к плечу еще во время Тридцатилетней войны, когда донские полки находились в рядах армии Валленштейна, а в 1807—1813 годы донские казаки со своим атаманом, графом Платовым, боролись за свободу Германии, и теперь за 3 1/2 года кровавой войны на полях Пруссии, Галиции, Буковины и Польши казаки и германцы взаимно научились уважать храбрость и

стойкость своих войск и ныне, протянув друг другу руки, как два благородных бойца, борются вместе за свободу родного Дона.

Всевеликое Войско Донское обязуется за услугу вашего императорского величества соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман астраханского войска князь Тундутов, и кубанское правительство, а по присоединении — и остальные части Доно-Кавказского союза.

Всевеликое Войско Донское предоставляет Германской империи права преимущественного вывоза избытков, за удовлетворением местных потребностей, хлеба — зерном и мукой, кожаных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них, табачных товаров и изделий, скота и лошадей, вина виноградного и других продуктов садоводства и земледелия, взамен чего Германская империя доставит сельскохозяйственные машины, химические продукты и дубильные экстракты, оборудование экспедиции заготовления государственных бумаг с соответственным запасом материалов, оборудование суконных, хлопчатобумажных, кожаных, химических, сахарных и других заводов и электротехнические принадлежности.

Кроме того, правительство Всевеликого Войска Донского предоставит германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в донские предприятия промышленности и торговли, в частности, по устройству и эксплуатации новых водных и иных путей.

Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами.

К вашему императорскому величеству обращается с этим письмом не дипломат и тонкий знаток международного права, но солдат, привыкший в честном бою уважать силу германского оружия, а поэтому прошу простить прямоту моего тона, чуждую всяких ухищрений, и прошу верить в искренность моих чувств.

*Уважающий вас Петр Краснов,
донской атаман, генерал-майор*

* * *

15 июля письмо было рассмотрено советом управляющих отделами, и, несмотря на то, что отношение к нему было весьма сдержанное, со стороны Богаевского и еще нескольких членов правительства даже явно отрицательное, Краснов не замедлил вручить его атаману Зимовой станицы в Берлине герцогу Лихтенбергскому, который выехал с ним в Киев, а оттуда, с генералом Черячукиным, в Германию.

Не без ведома Богаевского письмо до отправления было перепечатано в иностранном отделе, копии его широко пошли по рукам и, снабженные соответствующими комментариями, загуляли по казачьим частям и станицам. Письмо послужило могущественным средством пропаганды. Все громче стали говорить о том, что Краснов продался немцам. На фронтах бугрились волнения.

А в это время немцы, окрыленные успехами, возили русского генерала Черячукина под Париж, и он, вместе с чинами немецкого генерального штаба, наблюдал внушительнейшее действо крупповской тяжелой артиллерии, разгром англо-французских войск.

V

Во время ледяного похода¹ Евгений Листницкий был ранен два раза: первый раз — в бою за овладение станицей Усть-Лабинской, второй — при штурме Екатеринодара. Обе раны были незначительны, и он вновь возвращался в строй. Но в мае, когда Добровольческая армия стала в районе Новочеркасска на короткий отдых, Листницкий почувствовал недомогание, выхлопотал себе двухнедельный отпуск. Как ни велико было желание поехать домой, он решил остаться в Новочеркасске, чтобы отдохнуть, не теряя времени на переезды.

Вместе с ним уходил в отпуск его товарищ по взводу, ротмистр Горчаков. Горчаков предложил пожить у него:

— Детей у меня нет, а жена будет рада видеть тебя. Она ведь знакома с тобой по моим письмам.

В полдень, по-летнему горячий и белый, они подъехали к сутолуму обнявшему на одной из привокзальных улиц.

¹ Ледяным походом корниловцы называли свое отступление от Рос-това и Кубани.

— Вот моя резиденция в прошлом, — торопливо шагая, оглядываясь на Листницкого, говорил черноусый голенастый Горчаков.

Его выпуклые черные до синевы глаза влажнели от счастливого волнения, мясистый, как у грека, нос клонила книзу улыбка. Широко шагая, сухо шурша вытертыми леями защитных бриджей, он вошел в дом, сразу наполнив комнату прогорклым запахом солдатчины.

— Где Леля? Ольга Николаевна где? — крикнул спешившей из кухни улыбающейся прислуге. — В саду? Идем туда.

В саду под яблонями — тигровые пятнистые тени, пахнет пчельником, выгоревшей землей. У Листницкого в стеклах пенсне шрапнелью дробятся, преломляясь, солнечные лучи. Где-то на путях ненасытно и густо ревет паровоз; разрывая этот однотонный стонущий рев, Горчаков зовет:

— Леля! Леля! Где же ты?

Из боковой аллеики, мелькая за кустами шиповника, вынырнула высокая, в палевом платье, женщина.

На секунду она стала, испуганным прекрасным жестом прижав к груди ладони, а потом, с криком вытянув руки, помчалась к ним. Она бежала так быстро, что Листницкий видел только бившиеся под юбкой округло-выпуклые чаши колен, узкие носки туфель да золотую пыльцу волос, взвихренную над откинутой головой.

Вытягиваясь на носках, кинув на плечи мужа изогнутые, розовые от солнца, оголенные руки, она целовала его в пыльные щеки, нос, глаза, губы, черную от солнца и ветра шею. Короткие чмокающие звуки поцелуев сыпались пулеметными очередями.

Листницкий протирал пенсне, вдыхая за клубившийся вокруг него запах вербены, и улыбался, — сам сознавая это — глупейшей, туго натянутой улыбкой.

Когда взрыв радости поутих, перемеженный секундным перебоем, — Горчаков бережно, но решительно разжал сомкнувшиеся на его шее пальцы жены и, обняв ее за плечи, легонько повернул в сторону:

— Леля... мой друг Листницкий.

— Ах, Листницкий! Очень рада! Мне о вас муж... — Она, задыхаясь, бегло скользила по нему смеющимися, незрячими от счастья глазами.

Они шли рядом. Волосатая рука Горчакова с неопрятными ногтями и заусенцами охватом лежала на девичьей талии жены. Листницкий, шагая, косился на эту руку, вдыхал запах вер-

бены и нагретого солнцем женского тела и чувствовал себя подетски глубоко несчастным, кем-то несправедливо и тяжело обиженным. Он посматривал на розовую мочку крохотного ушка, прикрытого прядью золотисто-ржавых волос, на шелковистую кожу щеки, находившейся от него на расстоянии аршина; глаза его по-ящериному скользили к вырезу на груди, и он видел невысокую холмистую молочно-желтую грудь и пониклый коричневый сосок. Изредка Горчакова обращала на него светлые голубоватые глаза, взгляд их был ласков, дружелюбен, но боль, легкая и досадливая, точила Листницкого, когда эти же глаза, устремляясь на черное лицо Горчакова, лучили совсем иной свет...

Только за обедом Листницкий как следует рассмотрел хозяйку. И в ладной фигуре ее, и в лице была та гаснущая, ущербная красота, которой неярко светится женщина, прожившая тридцатую осень. Но в насмешливых холодноватых глазах, в движениях она еще хранила нерастраченный запас молодости. Лицо ее с мягкими, привлекательными в своей неправильности чертами было, пожалуй, самое заурядное. Лишь один контраст резко бросался в глаза: тонкие смугло-красные растрескавшиеся, жаркие губы, какие бывают только у черноволосых женщин юга, и просвечивающаяся розовым кожа щек, беледые брови. Она охотно смеялась, но в улыбке, оголявшей густые мелкие, как срезанные, зубы, сквозило что-то заученное. Низкий голос ее был глуховат и беден оттенками. Листницкому, два месяца не выдавшему женщин, за исключением измызганных сестер, она казалась преувеличенно красивой. Он смотрел на гордую в посадке голову Ольги Николаевны, отягченную узлом волос, отвечал невпопад и вскоре, сославшись на усталость, ушел в отведенную ему комнату.

...И вот потянулись дни, сладостные и тоскливые. После Листницкий благоговейно перебирал их в памяти, а тогда он мучился по-мальчишески, безрассудно и глупо. Голубиная чета Горчаковых уединялась, избегала его. Из комнаты, смежной с их спальней, перевели его в угловую под предлогом ремонта, о котором Горчаков говорил, покусывая ус, храня на помолодевшем, выбритом лице улыбочивую серьезность. Листницкий сознавал, что стесняет друга, но перейти к знакомым почему-то не хотел. Целыми днями валялся он под яблоней, в оранжево-пыльном холодке, читая газеты, наспех напечатанные на дрянной, оберточной бумаге, засыпая тяжким, неосвежающим сном. Источную скуку делил с ним красавец пойнтер, шоколадной в белых крапинах масти. Он молчаливо

ревновал хозяина к жене, уходил к Листницкому, ложился, вздыхая, с ним рядом, и тот, поглаживая его, прочувствованно шептал:

Мечтай, мечтай... Все уже и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами...

С любовью перебирал все сохранившиеся в памяти, пахучие и густые, как чебрецовый мед, бунинские строки. И опять засыпал...

Ольга Николаевна чутьем, присущим лишь женщине, распознала тяготившие его настроения. Сдержанная прежде, она стала еще сдержанней в обращении с ним. Как-то, возвращаясь вечером из городского сада, они шли вдвоем (Горчакова остановили у выхода знакомые офицеры Марковского полка), Листницкий вел Ольгу Николаевну под руку, тревожил ее, крепко прижимая ее локоть к себе.

— Что вы так смотрите? — спросила она, улыбаясь.

В низком голосе ее Листницкому почудились игривые, вызывающие нотки. Только поэтому он и рискнул козырнуть меланхолической строфой (эти дни одолевала его поэзия, чужая певучая боль).

Он нагнул голову, улыбаясь, шепнул:

И странной близостью закованный,
Смотрю на темную вуаль —
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Она тихонько высвободила свою руку, сказала повеселевшим голосом:

— Евгений Николаевич, я в достаточной степени... Я не могу не видеть того, как вы ко мне относитесь... И вам не стыдно? Подождите! Подождите! Я вас представляла немножко... иным... Так вот давайте оставим это. А то как-то и недосказанно, и нечестно... Я — плохой объект для подобных экспериментов. Приволокнуться вам захотелось? Ну так вот давайте-ка дружеских отношений не порывать, а глупости оставьте. Я ведь не «прекрасная незнакомка». Понятно? Идет? Давайте вашу руку!

Листницкий разыграл благородное негодование, но под конец, не выдержав роли, расхохотался вслед за ней. После того как их догнал Горчаков, Ольга Николаевна оживилась и повеселела еще больше, но Листницкий приумолк и до самого дома мысленно жестоко издевался над собой.

Ольга Николаевна, при всем своем уме, искренне верила в то, что после объяснения они станут друзьями. Наружно Листницкий поддерживал в ней эту уверенность, но в душе почти возненавидел ее и через несколько дней, поймав себя на мучительном выискивании отрицательных черт в характере и наружности Ольги, понял, что стоит на грани подлинного, большого чувства.

Иссякли дни отпуска, оставляя в сознании невыбродивший осадок. Добровольческая армия, пополненная и отдохнувшая, готовилась наносить удары, центробежные силы влекли ее на Кубань. Вскоре Горчаков и Листницкий покинули Новочеркасск.

Ольга провожала их. Черное шелковое платье подчеркивало ее неяркую красоту. Она улыбалась заплаканными глазами, некрасиво опухшие губы придавали ее лицу волнующе-трогательное, детское выражение. Такой она и запечатлелась в памяти Листницкого. И он долго и бережно хранил в воспоминаниях, среди крови и грязи пережитого, ее светлый немеркнувший образ, облакая его ореолом недосягаемости и поклонения.

В июне Добровольческая армия уже втянулась в бои. В первом же бою ротмистру Горчакову осколком трехдюймового снаряда разворотило внутренности. Его выволокли из цепи. Час спустя он, лежа на фурманке, истекая кровью и мочой, говорил Листницкому:

— Я не думаю, что умру... Мне вот сейчас операцию сделают... Хлороформу, говорят, нет... Не стоит умирать. Как ты думаешь?... Но на всякий случай... Находясь в твердом уме и так далее... Евгений, не оставь Лелю... Ни у меня, ни у нее родных нет. Ты — честный и славный. Женись на ней... Не хочешь?..

Он смотрел на Евгения с мольбой и ненавистью, щеки его, синевшие небритой порослью, дрожали. Он бережно прижимал к разверстому животу запачканные кровью и землей ладони, говорил, слизывая с губ розовый пот:

— Обещаешь? Не покинь ее... если тебя вот так же не изурасят... русские солдатики. Обещаешь? Молчишь? Она хорошая женщина. — И весь нехорошо покривился. — Тургеневская женщина... Теперь таких нет... Молчишь?

— Обещаю.

— Ну и ступай к черту!.. Прощай!..

Он вцепился в руку Листницкого дрожащим пожатием, а потом неловким, отчаянным движением потянул его к себе и, еще больше бледнея от усилий, приподнимая мокрую голову, прижался к руке Листницкого запекшимися губами. Торопясь,

накрывая полую шинели голову, отвернулся, и потрясенный Листницкий мельком увидел холодную дрожь на его губах, серую влажную полоску на щеке.

Через два дня Горчаков умер. Спустя один день Листницкого отправили в Тихорецкую с тяжелым ранением левой руки и бедра.

Под Кореновской завязался длительный и упорный бой. Листницкий со своим полком два раза ходил в атаку и контратаку. В третий раз поднялись цепи его батальона. Подталкиваемый криками ротного: «Не ложись!», «Орлята, вперед!», «Вперед — за дело Корнилова!» — он бежал по нескошенной пшенице тяжелой трусцой, щитком держа в левой руке над головой саперную лопатку, правой сжимая винтовку. Один раз пуля с звенящим визгом скользнула по покатуному желобу лопатки, и Листницкий, выравнивая в руке держак, почувствовал укол радости: «Мимо!» А потом руку его швырнуло в сторону коротким, поразительно сильным ударом. Он выронил лопатку и сгоряча, с незащищенной головой, пробежал еще десяток саженей. Попробовал было взять винтовку наперевес, но не смог поднять руку. Боль, как свинец в форму, тяжело вливалась в каждый сустав. Прилег в борозду, несколько раз, не осилив себя, вскрикнул. Уже лежачего, пуля куснула его в бедро, и он медленно и трудно расстался с сознанием.

В Тихорецкой ему ампутировали раздробленную руку, извлекли из бедра осколок кости. Две недели лежал терзаемый отчаянием, болью, скукой. Потом перевезли в Новочеркасск. Еще тридцать томительных суток в лазарете. Перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, острый запах йода, карболки... Изредка приходила Ольга Николаевна. Щеки ее отсвечивали зеленоватой желтизной. Траур усугублял невыплаканную тоску опустошенных глаз. Листницкий подолгу глядел в ее выцветшие глаза, молчал, стыдливо, воровски прятал под одеялом порожний рукав рубашки. Она словно нехотя спрашивала подробности о смерти мужа, взгляд ее плясал по койкам, слушала с кажущейся рассеянностью. Выписавшись из лазарета, Листницкий пришел к ней. Она встретила его у крыльца, отвернулась, когда он, целуя ее руку, низко склонил голову в густой повити коротко остриженных белесых волос.

Он был тщательно выбрит, защитный шегольской френч сидел на нем по-прежнему безукоризненно, но пустой рукав мучительно тревожил — судорожно шевелился внутри его крохотный забинтованный обрубок руки.

Они вошли в дом. Листницкий заговорил, не садясь:

— Борис перед смертью просил меня... взял с меня обещание, что я вас не оставлю...

— Я знаю.

— Откуда?

— Из его последнего письма...

— Желание его, чтобы мы были вместе... Разумеется, если вы согласитесь, если вас устроит брак с инвалидом... Прошу вас верить... речи о чувствах прозвучали бы сейчас... Но я искренне хочу вашего благополучия.

Смущенный вид и бессвязная, взволнованная речь Листницкого ее тронули:

— Я думала об этом... Я согласна.

— Мы уедем в имение к моему отцу.

— Хорошо.

— Остальное можно оформить после?

— Да.

Он почтительно коснулся губами ее невесомой, как фарфор, руки и, когда поднял покорные глаза, увидел бегущую с губ ее тень улыбки.

Любовь и тяжелое плотское желание влекли Листницкого к Ольге. Он стал бывать у нее ежедневно. К сказке тянулось уставшее от боевых будней сердце... И он наедине с собой рассуждал, как герой классического романа, терпеливо искал в себе какие-то возвышенные чувства, которых никогда и ни кому не питал, — быть может, желая прикрыть и скрасить ими наготу простого чувственного влечения. Однако сказка одним крылом касалась действительности: не только половое влечение, но и еще какая-то незримая нить привязывала его к этой, случайно ставшей поперек жизни, женщине. Он смутно разбирался в собственных переживаниях, одно лишь ощущая с предельной ясностью: что им, изуродованным и выбитым из строя, по-прежнему властно правит разнузданный и дикий инстинкт — «мне все можно». Даже в скорбные для Ольги дни, когда она еще носила в себе, как плод, горечь тягчайшей утраты, он, разжигаемый ревностью к мертвому Горчакову, желал ее, желал исступленно. Бешеной коловертью пенилась жизнь. Люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные и оглушенные происходившим, жили стремительно и жадно, одним нынешним днем. И не потому ли Евгений Николаевич и торопился связать узлом свою и Ольгину жизнь, быть может, смутно сознавая неизбежную гибель дела, за которое ходил на смерть.

Он известил отца подробным письмом о том, что женится и вскоре приедет с женой в Ягодное.

«...Я свое кончил. Я мог бы еще и с одной рукой уничтожать взбунтовавшуюся сволочь, этот проклятый «народ», над участью которого десятки лет плакала и слюнявилась российская интеллигенция, но, право, сейчас это кажется мне дико-бессмысленным... Краснов не ладит с Деникиным; а внутри обоих лагерей взаимное подсиживание, интриги, гнущь и пакость. Иногда мне становится жутко. Что же будет? Еду домой обнять вас теперь единственной рукой и пожить с вами, со стороны наблюдая за борьбой. Из меня уже не солдат, а калека, физический и духовный. Я устал, капитулирую. Наверное, отчасти этим вызвана моя женитьба и стремление обрести «тихую пристань», — грустно-иронической припиской заканчивал он письмо.

Отъезд из Новочеркасска был назначен через неделю. За несколько дней до отъезда Листницкий окончательно переселился к Горчаковой. После ночи, сблизившей их, Ольга как-то осунулась, потускнела. Она и после уступала его домоганиям, но создавшимся положением мучительно тяготилась и в душе была оскорблена. Не знал Листницкий или не хотел знать, что разной мерой меряют связывающую их любовь и одной — ненависть.

До отъезда Евгений думал об Аксинье нехотя, урывками. Он заслонялся от мыслей о ней, как рукой от солнца. Но, помимо его воли, все настойчивее — полосками света — стали просачиваться, тревожить его воспоминания об этой связи. Одно время он было подумал: «Не буду прерывать с ней отношений. Она согласится». Но чувство порядочности осилило — решил по приезде поговорить и, если представится возможность, расстаться.

На исходе четвертого дня приехали в Ягодное. Старый пан встретил молодых за версту от имения. Еще издали увидел Евгений, как отец тяжело перенес ногу через сиденье беговых дрожек, снял шапку.

— Выехали встретить дорогих гостей. Ну, дайте-ка взглянуть на вас... — забасил он, неловко обнимая невестку, тычась ей в щеки зеленовато-седыми прокуренными пучками усов.

— Садитесь к нам, папа! Кучер, трогай! А, дед Сашка, здравствуй! Живой? На мое место садитесь, папа, я вот рядом с кучером устроюсь.

Старик сел рядом с Ольгой, платком вытер усы и сдержанно, с кажущейся молодцеватостью оглядел сына:

— Ну как, дружок?

— Очень уж я рад вам!

— Инвалид, говоришь?

— Что же делать? Инвалид.

Отец с напускной подтянутостью поглядывал на Евгения, пытаясь за суровостью скрыть выражение сострадания, избегая глядеть на холостой, заткнутый за пояс зеленый рукав мундира.

— Ничего, привык. — Евгений пошевелил плечом.

— Конечно, привыкнешь, — заторопился старик, — лишь бы голова была цела. Ведь со щитом... а? Или как? Со щитом, говорю, прибыл. И даже со взятой в плен прекрасной невольницей?

Евгений любовался изысканной, немного устаревшей галантностью отца, глазами спрашивая у Ольги: «Ну как старик?» — и по оживленной улыбке, по теплу, согревшему ее глаза, без слов понял, что отец ей понравился.

Серые полурьсыстые кони шибко несли коляску под изволок. С бугра завиднелись постройки, зеленая разметная грива левады, дом, белевший стенами, заслонившие окна клены.

— Хорошо-то как! Ах, хорошо! — оживилась Ольга.

От двора, высоко вскидываясь, неслись черные борзые. Они окружили коляску. Сзади дед Сашка шелкнул одну, прыгавшую в дрожки, кнутом, крикнул запальчиво:

— Под колесо лезешь, дьява-а-ал! Прочь!

Евгений сидел спиной к лошадям; они изредка пофыркивали, мелкие брызги ветер относил назад, кропил ими его шею.

Он улыбался, глядя на отца, Ольгу, дорогу, устланную колосьями, на бугорок, медленно поднимавшийся, заслонявший дальний гребень и горизонт.

— Глушь какая! И как тихо...

Ольга улыбкой провожала безмолвно летевших над дорогой грачей, убегавшие назад кусты полынка и донника.

— Нас вышли встречать. — Пан пощурил глаза.

— Кто?

— Дворовые.

Евгений, оглянувшись, еще не различая лиц стоявших, почувствовал в одной из женщин Аксинью, густо побагровел. Он ждал, что лицо Аксиньи будет отмечено волнением, но, когда коляска, резко шурша, поравнялась с воротами и он с дрожью в сердце взглянул направо и увидел Аксинью, — его поразило лицо ее, сдержанно-веселое, улыбающееся. У него словно тяжесть свалилась с плеч, он успокоился, кивнул на приветствие.

— Какая порочная красота! Кто это?.. Вызывающе краси-

ва, не правда ли? — Ольга восхищенными глазами указала на Аксинью.

Но к Евгению вернулось мужество, спокойно и холодно согласился:

— Да, красивая женщина. Это наша горничная.

* * *

Присутствие Ольги на все в доме налагало свой отпечаток. Старый пан, прежде целыми днями ходивший по дому в ночной рубахе и теплых вязаных подштанниках, приказал извлечь из сундуков пропахшие нафталином сюртуки и генеральские, навывпуск, брюки. Прежде неряшливый во всем, что касалось его персоны, теперь кричал на Аксинью за какую-нибудь крохотную складку на выглаженном белье и делал страшные глаза, когда она подавала ему утром невычищенные сапоги. Он посвежел, приятно удивляя глаз Евгения глянцем неизменно выбритых щек.

Аксинья, словно предчувствуя плохое, старалась угодить молодой хозяйке, была заискивающе покорна и не в меру услужлива. Лукерья из кожи лезла, чтобы лучше стготовить обед, и превосходила самое себя в изобретении отменно приятных вкусу соусов и подливок. Даже деда Сашки, опустившегося и резко постаревшего, коснулось влияние происходивших в Ягодном перемен. Как-то встретил его пан около крыльца, оглядел всего с ног до головы и зловеще поманил пальцем.

— Ты что же это, сукин сын? А? — Пан страшно поворочал глазами. — В каком у тебя виде штаны, а?

— А в каком? — дерзко ответил дед Сашка, но сам был слегка смущен и необычным допросом, и дрожащим голосом хозяина.

— В доме молодая женщина, а ты, хам, ты меня в гроб вогнать хочешь? Почему мотню не застегиваешь, козел вонючий? Ну?!

Грязные пальцы деда Сашки коснулись ширинки, пробежали по длинному ряду ядреных пуговиц, как по клапанам беззвучной гармошки. Он хотел еще что-то предерзкое сказать хозяину, но тот, как в молодости, топнул ногой, да так, что на остроносом, старинного фасона сапоге подошва ощерилась, и гаркнул:

— На конюшню! Марш! Лукерью заставлю кипятком тебя ошпарить! Грязь соскобли с себя, конское быдло!

Евгений отдыхал, бродил с ружьем по суходолу, около скошенных просяников стрелял куропаток. Одно тяготило его: во-

прос с Аксиньей. Но однажды вечером отец позвал Евгения к себе; опасливо поглядывая на дверь и избегая встретиться глазами, заговорил:

— Я, видишь ли... Ты простишь мне вмешательство в твои личные дела. Но я хочу знать, как ты думаешь поступить с Аксиньей.

Торопливостью, с какой стал закуривать, Евгений выдал себя. Он опять, как в день приезда, вспыхнул и, чувствуя, что краснеет, покраснел еще больше.

— Не знаю... Просто не знаю... — чистосердечно признался он.

Старик веско сказал:

— А я знаю. Иди и сейчас же поговори с ней. Предложи ей денег, отступное. — Тут он улыбнулся в кончик уса: — Попроси уехать. Мы найдем еще кого-нибудь.

Евгений сейчас же пошел в людскую.

Аксинья, стоя спиной к двери, месила тесто. На спине ее, с заметным желобом посредине, шевелились лопатки. На смуглых полных руках, с засученными по локоть рукавами, играли мускулы. Евгений посмотрел на ее шею в крупных кольцах пушистых волос, сказал:

— Я попрошу вас, Аксинья, на минутку.

Она живо повернулась, стараясь придать своему просиявшему лицу выражение услужливости и равнодушия. Но Евгений заметил, как дрожали ее пальцы, опуская рукава.

— Я сейчас. — Метнула пугливый взгляд на кухарку и, не в силах побороть радости, подошла к Евгению со счастливой просящей улыбкой.

На крыльце он сказал ей:

— Пойдемте в сад. Поговорить надо.

— Пойдемте, — обрадованно и покорно согласилась она, думая, что это — начало прежних отношений.

По дороге Евгений вполголоса спросил:

— Ты знаешь, зачем я тебя позвал?

Она, улыбаясь в темноте, схватила его руку, но он рывком освободил ее, и Аксинья поняла все. Остановилась:

— Что вы хотели, Евгений Николаевич? Дальше я не пойду.

— Хорошо. Мы можем поговорить и здесь. Нас никто не слышит... — Евгений спешил, путался в незримой сети слов. — Ты должна понять меня. Теперь я не могу с тобой, как раньше... Я не могу жить с тобой... Ты понимаешь? Ведь теперь я женат и как честный человек не могу делать подлость... Долг совести не позволяет... — говорил он, мучительно стыдясь своих выпренних слов.

Ночь только что пришла с темного востока.

На западе еще багровела сожженная закатом делянка неба. На гумне при фонарях молотили «за погоду» — там повышенно и страстно бился пульс машины, гомонили рабочие; зубарь, неустанно выкармливавший прожорливую молотилку, кричал осипло и счастливо: «Давай! Давай! Дава-а-ай!» В саду зрела тишина. Пахло крапивой, пшеницей, росой.

Аксинья молчала.

— Что ты скажешь? Что же ты молчишь, Аксинья?

— Мне нечего говорить.

— Я тебе дам денег. Ты должна уехать отсюда. Я думаю, ты согласишься... Мне будет тяжело видеть тебя постоянно.

— Через неделю мне месяц кончается. Можно дослужить?

— Конечно, конечно!

Аксинья помолчала, потом как-то боком, несмело, как побитая, подвинулась к Евгению, сказала:

— Ну что же, уйду... Напоследок аль не пожалеешь меня? Меня нужда такой бессовестной сделала. Измучилась я одна... Ты не суди, Женя.

Голос ее был звучен и сух. Евгений тщетно пытался разобрататься, серьезно она говорит или шутит.

— Чего ты хочешь?

Он досадливо кашлянул и вдруг почувствовал, как она снова робко ищет его руку...

Через пять минут он вышел из-за куста мокрой пахучей смородины, дошел до прясла и, пыхая папироской, долго тер носовым платком брюки, обзеленные в коленях сочной травой.

Всходя на крыльцо, оглянулся. В людской, в желтом просвете окна, виднелась статная фигура Аксиньи, — закинув руки, Аксинья поправляла волосы, смотрела на огонь, улыбалась...

VI

Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа.

Отцвели разномастные травы. На гребнях никла безрадостная выгоревшая полынь. Короткие ночи истлевали быстро. По ночам на обугленно-черном небе несчетные сияли звезды; месяц — казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной,

светил скупо, бело; просторный Млечный Шлях сплетался с иными звездными путями. Терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен; земля, напитанная все той же горечью всеильной полыни, тосковала о прохладе. Забились гордые звездные шляхи, не попранные ни копытом, ни ногой; пшеничная россыпь звезд гибла на сухом, черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками; месяц — обсохлым солончаком, а по степи — сушь, сгибшая трава, и по ней белый неумолчный перепелиный бой да металлический звон кузнечиков...

А днями — зной, духота, мгlistое курево. На выцветшей голубени неба — нещадное солнце, бестучье да коричневые стальные полудужья распростертых крыльев коршуна. По степи слепяще, неотразимо сияет ковыль, дымится бурая, верблюжьей окраски, горячая трава; коршун, кренясь, плывет в голубом — внизу, по траве, неслышно скользит его огромная тень.

Суслики свистят истомно и хрипло. На желтеющих парных отвалах нор дремлют сурки. Степь горяча, но мертва, и все окружающее прозрачно-недвижимо. Даже курган синее на грани видимого сказочно и невнятно, как во сне...

Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жуёт шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!

* * *

У него маленькая сухая змеиная голова. Уши мелки и подвижны. Грудные мускулы развиты до предела. Ноги тонкие, сильные, бабки безупречны, копыта обточены, как речной голыш. Зад чуть висловат, хвост мочалист. Он — кровный донец. Мало того: он очень высоких кровей, в жилах его ни капли инородности, и порода видна во всем. Кличка его Мальбрук.

На водопое он, защищая свою матку, бился с другим, более сильным старым жеребцом, и тот сильно зашиб ему левую переднюю ногу, несмотря на то, что жеребцы на попасе всегда раскованы. Они вставали на дыбы, грызли друг друга, били передними ногами, рвали один на другом кожу...

Атарщика возле не было — он спал в степи, подставив солнцу спину и раскоряченные ноги в пыльных накаленных сапогах. Противник свалил Мальбрука на землю, потом гнал далеко-далеко от косяка и, оставив там истекающего кровью, занял оба косяка, увел вдоль по обочине Топкой балки.

Раненого жеребца поставили на конюшню, фельдшер залечил ему ушибленную ногу. А на шестой день Мишка Кошевой, приехавший к смотрителю с докладом, стал свидетелем того, как Мальбрук, управляемый могучим инстинктом продолжателя рода, перегрыз чембур, выскочил из станка и, захватив пасшихся возле казармы стреноженных кобылиц, на которых ездили атарщики, смотритель и фельдшер, погнал их в степь — сначала рысью, потом начал покусывать отставших, торопить. Атарщики и смотритель выскочили из казармы, слышали только, как на кобылицах звучно лопались живцы¹.

— Спéшил нас, проклятый сын!..

Смотритель выругался, но смотрел вслед удалявшимся лошадям не без тайного одобрения.

В полдень Мальбрук привел и поставил лошадей на водопой. Маток отняли у него пешие атарщики, а самого, заседлав, увел Мишка в степь и пустил в прежний косяк.

За два месяца службы в атарщиках Кошевой внимательно изучил жизнь лошадей на отводе; изучил и проникся глубоким уважением к их уму и нелюдскому благородству. На его глазах покрывались матки; и этот извечный акт, совершаемый в первобытных условиях, был так естественно-целомудрен и прост, что невольно рождал в уме Кошевого противопоставления не в пользу людей. Но много было в отношениях лошадей и людского. Например, замечал Мишка, что стареющий жеребец Бахарь, неукротимо-злой и грубоватый в обращении с кобылицами, выделял одну рыжую четырехлетнюю красавицу, с широкой прозвездью во рту и горячими глазами. Он всегда был около нее встревожен и волнуяще резок, всегда обнюхивал ее с особенным, сдержанным и страстным похрапом. Он любил на стоянке класть свою злую голову на круп любимой кобылицы и дремать так подолгу. Мишка смотрел на него со стороны, видел, как под тонкой кожей жеребца вяло играют связки мускулов, и ему казалось, что Бахарь любит эту кобылицу по-старчески безнадежно, крепко и грустно.

Служил Кошевой исправно. Видно, слух о его усердии дошел до станичного атамана, и в первых числах августа смот-

¹ Ж и в ц ы — пути, треноги.

ритель получил приказ откомандировать Кошевого в распоряжение станичного правления.

Мишка собрался в два счета, сдал казенную экипировку, в тот же день на́вечер выехал домой. Кобылку свою торопил неустанно. На закате солнца выбрался уже за Каргин и там на гребне догнал подводу, ехавшую в направлении Вешенской.

Возница-украинец погонял упаренных сытых коней. В задке рессорных дрожек полулежал статный широкоплечий мужчина в пиджаке городского покроя и сдвинутой на затылок серой фетровой шляпе. Некоторое время Мишка ехал позади, поглядывая на вислые плечи человека в шляпе, подрагивавшие от толчков, на белую запыленную полоску воротничка. У пассажира возле ног лежали желтый саквояж и мешок, прикрытый свернутым пальто. Нюх Мишки остро шекотал незнакомый запах сигары. «Чин какой-нибудь едет в станицу», — подумал Мишка, ровняя кобылу с дрожками. Он искоса глянул под поля шляпы — и полураскрыл рот, чувствуя, как от страха и великого изумления спину его проворно осыпают мурашки: Степан Астахов полулежал на дрожках, нетерпеливо жуя черный ошкamelок сигары, щуря лихие светлые глаза. Не веря себе, Мишка еще раз оглядел знакомое, странно изменившееся лицо хуторянина, окончательно убедился, что рессоры качают подлинно живого Степана, и, запотев от волнения, кашлянул:

— Извиняюсь, господин, вы не Астахов будете?

Человек на дрожках кивком бросил шляпу на лоб; поворачиваясь, поднял на Мишку глаза:

— Да, Астахов. А что? Вы разве... Постой, да ведь ты — Кошевой? — Он привстал и, улыбаясь из-под подстриженных каштановых усов одними губами, храня в глазах, во всем постаревшем лице неприступную суровость, растерянно и обрадованно протянул руку. — Кошевой? Михаил? Вот так увиделась!.. Очень рад...

— Как же? Как же так? — Мишка бросил поводья, недоуменно развел руками. — Гутарили, что убили тебя. Гляжу: Астахов...

Мишка зацвел улыбкой, заерзал, засуетился в седле, но внешность Степана, чистый глухой выговор его смутили; он изменил обращение и после в разговоре все время называл его на «вы», смутно ощущая какую-то невидимую грань, разделявшую их.

Между ними завязался разговор. Лошади шли шагом. На западе пышно цвел закат, по небу лазоревые шли в ночь тучки. Сбоку от дороги в зарослях проса оглушительно надсаживался

перепел, пыльная тишина оседала над степью, изжившей к вечеру дневную суету и гомон. На развилке чукаринской и кружилинской дорог виднелся на фоне сиреневого неба увядший силуэт часовни; над ним отвесно ниспадала скопившаяся громада кирпично-бурых кучевых облаков.

— Откель же вы взялись, Степан Андреич? — радостно попытывался Мишка.

— Из Германии. Выбрался вот на родину.

— Как же наши казаки гутарили: мол, убили на наших глазах Степана?

Степан отвечал сдержанно, ровно, словно тяготясь распросами:

— Ранили в двух местах, а казаки... Что казаки? Бросили они меня... Попал в плен... Немцы вылечили, послали на работу...

— Писем от вас не было вроде...

— Писать некому. — Степан бросил окурок и сейчас же закурил вторую сигару.

— А жене? Супруга ваша живая-здоровая.

— Я ведь с ней не жил — известно, кажется.

Голос Степана звучал сухо, ни одной теплой нотки не вкрадось в него. Упоминание о жене его не взволновало.

— Что же, не скучали в чужой стороне? — жадно пытал Мишка, почти ложась грудью на луку.

— Вначале скучал, а потом привык. Мне хорошо жилось. — Помолчав, добавил: — Хотел совсем остаться в Германии, в подданство перейти. Но вот домой потянуло — бросил все, поехал.

Степан, в первый раз смягчив черствые в углах глаза, улыбнулся.

— А у нас тут, видите, какая расторопь идет? Воюем промеж себя.

— Да-а-а... слышал.

— Вы каким же путем ехали?

— Из Франции, пароходом из Марселя — город такой — до Новороссийска.

— Мобилизуют и вас?

— Наверное... Что нового в хуторе?

— Да разве всего расскажешь? Много новья.

— Дом мой целый?

— Ветер его колышет...

— Соседи? Мелеховы ребята живые?

— Живые.

— Про бывшую нашу жену слух имеете?